

Наживин Иван Федорович

Неглубокоуважаемые

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
И17

И17 **Иван Федорович Н.**
Неглубокоуважаемые / Наживин Иван Федорович – М.: Книга по Требованию,
2022. – 428 с.

ISBN 978-5-519-98548-2

ISBN 978-5-519-98548-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

НЕГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ

Оставь, входящий, всякую надежду.

Данте.

I. СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО.

Андрей Иванович Булановский, в прошлом видный писатель и музыкант, а теперь безработный, небольшой, сухой и смуглый брюнет с вьющейся бородкой, в которой было уже много серебра, с большими то грустными, то гневными глазами, которые давно уже забыли, как надо улыбаться, сидел в Булонском лесу, на скамейке, недалеко от большой лужи, которая должна была изображать озеро, и, хмурясь, читал „Последние Новости“, заметку о недавно умершем ген. Богаевском, который каким-то чудом остался и в Париже атаманом несуществующего здесь Войска Донского. Оказывалось, что чрез республиканско-демократический листок о нем скорбели Кубанский и Терский войсковые атаманы, Казачий Совет, лейб-гвардии Казачий полк, лейб-гвардии Атаманский полк, лейб-гвардии 6 Донская батарея, Атаманское военное училище, Донской офицерский резерв, Союз Донских кадет, Союз Донских артиллеристов, Комиссия по созыву казачьего съезда, Союз степняков-партизанов, Союз партизанов-чернецовцев, Лига Возрождения Казачества, Астраханское объединение и пр., и пр., и пр. Андрей Иванович в изнеможении опустил газету и сумасшедшими глазами посмотрел вокруг, на эти жалкие деревья, на эту чванящуюся своими нарядами и автомобилями толпу, на последних, может быть, пичужек,

которые еще дышали в этом лесу среди дьявольского гвалта автомобильных гудков. Все эти лейб-гвардии полки, батареи, атаманы уже много лет исчезли, казалось бы, с лица земли и вот оказывалось, что они все же как то существуют по парижским трущобам на последние гроши, собираемые с нищих, которые уверены, что все эти атаманы не сегодня - завтра встанут для делания истории!.. Испытывая чувство тупого недоумения не то пред глупостью людской, не то пред силой их иллюзий, не то пред каким-то дрянненьким расчетом на какие-то дрянненькие франки, он, подавив тяжелый вздох, скользнул глазами по слепым столбцам трухлявого листка дальше. Оказывалось, что теперь предстоят выборы нового атамана на место Богаевского, атамана бездомных босяков и бродяг, тоскливо слоняющихся по чужой стране в напрасных поисках работы или сидящих по тюрьмам республики — милюковский листок очень восхвалял это „гостеприимство“, — за бродяжничество, т. е., за то, что у них нет ни денег, ни дома, ни часто и бумаг. Дальше оказывалось, что молодой герцог Кентский с супругой прибыли куда-то вполне благополучно, что чудовище какого-то озера в Англии больше не показывается и что из этого надо заключить, что это был даже не тюлень, а просто утка голодного газетчика, которому нужны новые ботинки, что метр Филоненко произнес очень хорошую речь на суде в защиту какого-то несчастного русского беженца, которого травил полиция великой демократии — было очень заметно, что еврей-хроникер весьма доволен, что он знает и может употреблять такое чудесное слово, как „мэтр“ — что английский министр иностранных дел „твердо заявил“ что-то там такое на счет всемирного мира, что Лаваль „дал бой“ — тут опять высунулась дрянная мордочка голодного хроникера, — оппозиции, что Муссолини, наоборот, твердо заявил,

что с Бреннера итальянцы не уйдут, что Сталин выпил рюмку водки за беспартийных партийных, что князь С. Волконский очень одобряет какую-то блондинку в каком-то фильме, что кн. Вяземский очень одобряет какую-то английскую лошадь, что кн. Барятинский вспоминает о былой клубничке, что кто-то кого-то так ловко двинул по морде, что сразу стал чемпионом мира и огреб невероятные деньги, что Косоротов очень хорошо натирает полы, что госпожа занимается переводами, что листок Милюкова в Палестине можно иметь там-то, а в Болгарии там-то, что поздняя обедня в Аньере будет тогда-то... Андрей Иванович почувствовал, как всегда, что им овладевает нестерпимая одурь, но он по привычке скользнул глазами в фельетоны, которых было, как всегда, несколько: во-первых, это были записки какого-то бывшего большевика, который, чтобы угодить новой аудитории, из кожи лез вон, чтобы доказать, что Россия теперь это дантов ад, во-вторых, были нудные научные изыскания Ю. Делевского — злые языки звали его Иуделевским, — в-третьих, взгляд и нечто вдребезги изболтавшейся старицы Кусковой, которая делала очередной выговор большевикам за то, что они правят совсем не так, как это нужно, и наконец, в-четвертых, дурацкий сыщицкий роман „Роковая Змея“. Среди ядовитых газов, источаемых этими нудными столбцами, в глаза Андрею Ивановичу бросились строки старицы Кусковой:

„... Другие, напротив, рисуют блаженное благополучие — чистоту и святость русской жизни — в прошлом. Так бы все и шло без сучка, без задоринки, если бы не агитация неизвестно откуда взявшихся супостатов, погубителей этой честной и святой жизни, если бы не Герцены, Писаревы, Чернышевские, Михайловские, Милюковы и прочие властители дум русской интеллигенции...“

Большие черные глаза налились гневом, болью, отвращением и он, судорожно скомкав трухлявый листок, с гадливостью швырнул его на твердую дорожку и — вдруг рядом раздался серебристый женский смех.

— Так... Все воюете?... — с заметным иностранным акцентом проговорил женский голос. — Но смотрите, увидят, что вы бросили газету на *voie publique* и, пожалуй, за гнев ваш — знаю, знаю, что праведный... — вас оштрафуют... Поднимите Милюкова лучше...

— Подниму, но не потому, что оштрафуют, а потому что вечером сегодня же напишу этой даме письмецо... — подняв газету и со шляпой в руке подходя к улыбающейся красавице, сказал он. — Я очень рад видеть вас, Галочка...

Тонкая, стройная, совсем девичья фигура, толстые, черные косы, свернутые по обеим сторонам хорошенькой головки и это бледное, одухотворенное, милое личико, на котором черными звездами сияли большие, грустные, точно раненные еврейские глаза — все в ней было прелестно, а то, что она подошла уже близко к предельной женской черте — ей было, вероятно, за тридцать пять — с необыкновенной силой и прелестью подчеркивало эту пышную, но уже точно надломленную красоту.

— Здравствуйте, пророк Исаия... Или Иеремия?... — улыбнулась она. — Что это опять так рассердило вас?

Он поцеловал ее маленькую, тонкую ручку.

— Хотите присесть или пойдем? — спросил он.

— Нет, пойдем... — отвечала она. — Я уже давно гуляю, пора... Итак?

— Да вот от мадам Кускофф я узнал, что Милюков „властитель дум“, зло сказал он. — Во-истину, старица платит слишком дорого за гостеприимство в его листке...

— Да зачем вы все эти глупости читаете?... — посмотрела она на его возбужденное лицо. — Я вот не

читаю и спокойна... Я уже говорила вам, что ваши глаза производят на женщин наибольшее впечатление тогда, когда они совсем, совсем спокойны: тогда они нежны и мягки, как теплая летняя ночь... Хотя я лично люблю вас и когда вы гремите — хотя бы и бесполезно... Вам надо перестать отравляться газетами.

— Не могу отстать от этой отвратительной привычки... — отвечал он. — Знаю, что глупо, знаю, что дрянная отравка, а не могу. Как у некоторых с табаком или с вином... Щедрин говаривал, что газета это дурак, который ворвался вдруг к вам в комнату и замолот, замолот, замолот. Он очень ошибался: теперь газета не дурак уже, а очень хитрый прохвост, который очень хорошо знает, чего ему надо... Нет: Милюков — властитель дум, а? — снова потемнел он. — Когда я начал эту тираду, я даже дух затаил: а вдруг тарарахнет рядом Толстого. Но слава Богу, удержалась. Но за то почему-то нет других таких же властителей дум, как Плеханов, Чернов, Керенский, а в особенности самый красочный, один, но троичен в лицах Гоц-Либер-Дан... Тут таскается в Париже генерал один, который все ходил полковником и вдруг бац: ваше превосходительство. Как это вы ухитрились, генерал? — спрашиваю его как-то. „Очень просто, — отвечает старец. — Я признал Кирилла императором, а он меня за это генералом. По моему, говорит, от сделки выиграл все же Кирилл: *Empereur des toutes les Russies*... “ Нет, нет, сегодня же я напишу ей письмецо...

— Вы не бросили еще этой вашей ужасной привычки? — воскликнула Галочка с улыбкой. — Но на вас весь русский Париж уже и так за эти ваши выступления собак вешает. Я слышала о вашем послании к митрополиту Антонию и должна признаться: замечательно!.. Но он все же митрополитом Антонием быть от вашего письма не перестал... А благомыслящий Париж бесится...

— На здоровье!.. — усмехнулся он зло. — У нас нет свободной, независимой газеты — вот и отводишь душу в письмах. Правда, это довольно начетисто: за каждое письмо ведь надо платить франк пятьдесят. Задумаешься иногда. Но и дышать тоже надо...

Она остановилась вдруг пред ним и долго ласково смотрела ему в взбудораженное лицо своими ранеными глазами.

— Можете вы говорить со мной серьезно? — спросила она.

— Я всегда говорю не только с вами, но со всеми совершенно серьезно... — не без удивления отвечал он. — В чем дело?

— Идемте... — сказала она. — Нет, вы говорите всегда не серьезно... Вы говорите, как избалованный мальчик, который требует от жизни, как это раньше ваши декаденты говорили, „того, чего не бывает никогда, никогда...“ Вы поражены ужасной русской болезнью, которая была бы в другом, может быть, очень смешна, но вам ее легко прощаешь потому, что в вас она очень искренна и вам первому причиняет столько настоящего страдания...

— Какой русской болезнью? О чем говорите вы?

— Болезнь эта на моем американском языке называется романтизмом... — сказала Галочка. — Он очень опасен, но иногда бывает излечим. Боюсь, что у вас он особенно упорен и вам нужны будут медикамента эронка, как говорят аптекари, чтобы, если не излечить вас, то дать вам возможность хоть изредка видеть мир таким, каков он есть, без романтических очков. Всякий трезвый, знающий жизнь человек отлично знает, что Милюков и эта его дама, только политические очковтиратели, жонглеры, эквилибристы, которые думают, что именно этим путем они лучше всего пробьются к „хлебу

из маслом“. Что тут исправлять? И почему этим — извините вашего друга...—глупым делом должны непременно заниматься вы? Так всегда было и так всегда будет. И надо или уйти от них в монастырь, что ли, или ссепив зубы — а то так даже и с улыбкой — идти среди них своей дорогой — туда же, куда идут и они. Я надеюсь, что дама эта достаточно стара, чтобы скоро освободить вас от своего присутствия, романтик?

— Вполне достаточно...—слабо усмехнулся он.— Но у меня нет достаточно сил, чтобы выносить все это похабство молча...

— Знаю, романтик!.. Знаю, барич!..—улыбнулась Галочка.— Но вам пора демократизироваться немножко и не очень зажимать нос при виде ближнего своего. Я вот ненавижу эту гадость,—показала она на торчащую впереди над каменным морем города башню Эйфеля— но раз повалить ее я не могу, значит, все, что мне остается, это терпеть, ибо, если бы я даже и убежала отсюда куда-нибудь, то непременно налетела бы на другого Эйфеля: там статуя „Свободы“, там мавзолей Ленина, там Георг V с его хорс-гардами в опереточных костюмах, там Гитлер все протягивает руку вперед и зверски кричит по радио всякие глупости. От человека уйти некуда и самый неудобный груз для совместной жизни с ним, это, конечно, ваш романтизм. Вы по примеру Толстого или Диогена с его фонарем все ищите какого-то сына Божия, а его нет, это выдумка, а есть только Милюков с дамой. Ой, смотрите, сам внук своего дедушки идет... Вот завтра будет разговоров о нашем тет-а-тет!.. -

И она прелестным движением хорошенькой головки ответила на холодный, без улыбки поклон двух потерянных господ, которые шли навстречу. Один был незначительный блондинчик с белобрысыми усиками, очень

похожий на балтийского барона - заморыша. Это был внук Достоевского. Звали его Александр Николаевич Пургин или, как стояло у него на дверях, де Пургин. Раньше он был захудалым помещиком Пензенской губернии и земским начальником, а здесь служил конторщиком в каком-то банке, а для души состоял товарищем председателя Историческо-генеалогического Общества, ибо зная белой кости он держал весьма высоко. За память Императора Николая II он готов был лечь костями, но все же не помирал. Себя он звал „порядочный человек“, ибо носил воротнички, шляпу мелон — слегка на - бекрень — и довольно слабо говорил по - французски. Другой, толстый, грузный, с обвисшим, как у старого меделянского пса, „породистым“ лицом был граф Пестровский, раньше камергер и лендлорд, а теперь что - то вроде секретаря в маленькой католической редакции, что не мешало ему однако „либеральничать“ — в подходящем обществе, — весьма неблагосклонно относиться к Ники II и в делах веры быть большим вольтерьянцем.

Андрей Иванович долго шел молча и вдруг сказал:

— Дайте мне в двух строках характеристику этого внука своего дедушки по вашему рецепту, без всякого романтизма...

— Тут двух строк совсем не надо, — сказала Галочка. — Земский начальник, которого забыли похоронить, только и всего... А Достоевского, конечно, очень жаль...

— Готов подписаться.

— Думаю. Но вся разница в том, что вы непременно хотите, чтобы он был не кавалерист, а сын Божий, а я предоставляю ему право коптить небо, как ему хочется, ибо башню Эйфеля не повалишь. Это бессмертное произведение бессмертного лавочника. Мир принадлежит не нам, а им и с этим давно, давно надо примириться. Мы — приживальщики, которых они терпят только по